



Adam Vains

ЖНЕЦ,
КОТОРЫЙ
ЗАДАВАЛ
ВОПРОСЫ.

Книга
вторая:
Тут
чай

Adam Vains

**ЖНЕЦ, КОТОРЫЙ ЗАДАВАЛ
ВОПРОСЫ. Книга вторая: Тут чай**

«Автор»

2026

Vains A.

ЖНЕЦ, КОТОРЫЙ ЗАДАВАЛ ВОПРОСЫ. Книга вторая: Тут чай
/ А. Vains — «Автор», 2026

Бывший жнец, оставивший свою работу ради обычной жизни, обнаруживает, что город погружается в странную тишину и серость. Свет гаснет, люди теряют связь друг с другом, а мир вокруг меняется. В центре истории — борьба главного героя с надвигающейся угрозой, которая превращает мир в безмолвную пустоту. Ему помогают случайные встречи с другими людьми, замечающими изменения: владельцем маленького магазина, диспетчером и мальчиком, считающим фонари. Книга исследует темы человеческого присутствия, связи между людьми и важности простых вещей — света фонарей, горячего чая и обычных разговоров. Это история о том, как маленькие действия могут противостоять большому злу, и о том, что иногда возвращение к своему предназначению — единственный способ спасти мир от погружения в тишину. Произведение сочетает в себе элементы городского фэнтези и психологической прозы, создавая атмосферу медленно надвигающейся угрозы, с которой можно бороться, только сохраняя человечность.

© Vains A., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЖНЕЦ, КОТОРЫЙ ЗАДАВАЛ ВОПРОСЫ. Книга вторая: Тут чай	5
Интерлюдия. Кружка, которая помнит	6
Действие I. Тени	9
Глава 1. Витрина	9
Глава 2. Мальчик с тетрадкой	12
Глава 3. Трость	15
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Adam Vains
ЖНЕЦ, КОТОРЫЙ ЗАДАВАЛ
ВОПРОСЫ. Книга вторая: Тут чай

ЖНЕЦ, КОТОРЫЙ ЗАДАВАЛ
ВОПРОСЫ. Книга вторая: Тут чай

Автор: Adam Vains

Посвящается всем, кто выбирает каплю вместо покоя

Интерлюдия. Кружка, которая помнит

Он ушёл тихо.

Не от семьи — от гильдии. Во второй раз. Первый был сто двадцать лет назад, когда он отказался забрать девочку и Совет стёр его имя со стен. Тогда ушёл в ночь, в переулки, в тень. Тогда — не было куда возвращаться.

Теперь было.

Он сказал Наставнику в тусклом зале, где пахло воском и старой бумагой: «Я больше не слышу. Я не могу. Я не хочу». Сказал и услышал собственный голос — чужой, глухой, будто из-под воды. Трость в руке дрогнула, но он сжал её крепче и не послушал.

Наставник сидел за столом. Прямой, как свеча. Руки — на столе, сложенные крест-накрест, с венами, которые проступали, как рельсы на старой карте. Глаза — серые, выцветшие, но видящие больше, чем хотели. Не злые. Не разочарованные. Печальные. Как смотрят на человека, который нашёл дорогу домой и теперь сворачивает с неё — не потому что заблудился, а потому что решил.

— Когда трость снова загудит, — сказал Наставник, — не говори, что я тебя не предупреждал.

Жнец не ответил. Повернулся. Вышел. Дверь закрылась — не с грохотом, а с тихим щелчком, будто защёлкнулась на ключ, который он выбросил в канаву по дороге домой.

Он выбросил ключ в канаву на углу Литейного и проспекта Бакунина. Канавка была грязной, с радужной плёнкой бензина на поверхности, с окурками и мокрыми листьями. Ключ ушёл под воду без всплеска — как монета, которую бросают в фонтан, но без желания, чтобы желание сбылось. Жнец бросил его с желанием, чтобы ничего не сбылось. Чтобы трость молчала. Чтобы нити исчезли. Чтобы он перестал быть Жнецом и стал просто человеком, который идёт домой.

Дом был на Петроградской стороне. Третий этаж, окно на восток. Жена — Нина, невысокая, с тёмными волосами, которые собирала в хвост, и привычкой разговаривать с чайником, когда думала, что никто не слышит. Сын — Миша, пять лет, рисовал солнце, которое было не кругом с лучами, а живым существом на тонких ножках. Будто солнце не висело в небе, а шло — медленно, осторожно, как старик с тростью.

Жнец пришёл домой в три часа ночи. Нина спала. Миша спал. Квартира была тёмной, но не мёртвой — тёплой. Дышащей. Будильник на полке тикал ровно, как метроном, который держит время для всего мира. Жнец снял пальто, положил трость у стены и сел на кухне. Не включил свет. Сидел в темноте и слушал тишину. Впервые за сто двадцать лет — тишина была не рабочей. Не паузой, которую нужно заполнить. Не местом, где что-то ждёт. Просто — тишина. Тихая. Домашняя. Нормальная.

Он просидел так до утра. Когда Нина вышла на кухню и увидела его, она не спросила. Просто поставила чайник. И Жнец подумал: вот. Вот за этим. Не за гильдией, не за балансом, не за тетрадами без ответов. За этим. За чайником, за тикающим будильником, за женой, которая не спрашивает. За «нормально», которое не нужно заслуживать.

Трость загудела через три месяца. Тихо, едва — как бас, который слышишь не ушами, а грудной клеткой. Жнец не слушал. Она загудела снова через полгода — громче, настойчивее. Он не слушал. Через год — постоянно, фоном, как тиканье часов, к которому привыкаешь и перестаёшь замечать. Он не слушал.

Он жил.

Жил — по-настоящему, как не жил никогда. Не в тенях, не в переулках, не среди чужих нитей и чужой боли. Дома. Где жена ставит чайник и напевает без слов, сын рисует кривое солнце на тонких ножках, будильник тикает ровно. Утром он просыпался и слышал: чайник

на кухне, Нина гремит чашками, Миша сопит, прибежав ночью, потому что приснился плохой сон. Он вставал, шёл на кухню, брал кружку — белую, с рыжим котиком и полустёртой надписью: «Тут чай. Значит, всё нормально». Наливал. Пил. Горячий, крепкий, чуть горьковатый. И думал: нормально. Впервые за сто двадцать лет — нормально.

Он нашёл кружку на блошином рынке, через неделю после ухода из гильдии. Среди лома, битой посуды и книг без обложек. Она стояла на нижней полке, пыльная, неприметная. Но он увидел надпись и взял в руки — и руки не задрожали, и трость молчала. Просто кружка. Просто чай. Просто — нормально. Он купил три. Одну — себе. Одну — Александру. Одну — Марине.

Александр держал магазин «Уголок» на той же улице, где Жнец гулял по вечерам. Не потому что хотел — потому что проснулся и не смог лежать. Магазин был маленький: хлеб, молоко, печенье, сигареты, чай. Александр гордился витриной — большим стеклом, которое протирал каждый вечер тряпкой, не шваброй, а рукой. Жнец заходил, покупал булочку, пил чай. Александр кивал: «Нормально». Жнец кивал в ответ. Этого хватало.

Марина работала в диспетчерской — принимала звонки про лифты, лампочки, трубы. Каждый звонок — маленькая нить: я тут. Я помогу. Жнец слышал это — краем, не слушая, как слышат радио в соседней комнате. Марина не знала его. Но однажды он принёс ей кружку — просто так, без причины. Она посмотрела на котика, на надпись, усмехнулась: «Тут чай. Значит, всё нормально. Ну, хоть что-то нормально». И поставила на стол, рядом с телефоном.

Три кружки. Три фонаря. Три «нормально», которые держались, пока держались.

А мир за окном медленно серел.

Сначала — почти незаметно. Как седина: смотришь в зеркало каждый день — не видишь. Сравниваешь с фото год назад — видишь.

Нина Павловна, семьдесят четыре года, третий этаж, всегда покупала один батон и пачку кефира. Пришла — и забыла, зачем. Постояла у прилавка. Брови сдвинулись — она пыталась вспомнить. Вспомнила. Но «спасибо» прозвучало плоско, как монета на кафеле. И ушла, осторожно ступая, как будто асфальт мог провалиться.

Мужчина взял сигареты и забыл сдачу. Женщина стояла у полки с чаем три минуты и взяла первую попавшуюся. Девочка лет десяти зашла за жвачкой и вышла, не разворачивая обёртки.

Фонари. Лампочки выкручивали. Не разбивали — выкручивали. Аккуратно, с уважением. Клади на асфальт, целые. Кто? Жнец не слушал. Не хотел знать.

Трость гудела. Он не слушал.

Марине пришло уведомление. «Ваша должность упразднена в связи с оптимизацией штатной структуры». Бумага. Подпись. Печать. И тишина. Телефон больше не звонил. Никто не говорил: «Марина, у нас лифт застрял». Никто не говорил «спасибо». Нити оборвались — не все, но многие. И в том месте, где они оборвались, стало тихо.

Марина не выходила. Первый день — лежала. Второй — убралась. Третий — посмотрела в окно. Серое. Четвёртый — не смотрела. Пятый — задёрнула шторы. Шестой — не выходила. Седьмой — позвонил Александр. Она сказала «тут» и положила трубку. Ровно. Как кладут вещь, которая больше не нужна.

Кружка стояла на столе. Белая, с котиком. «Тут чай. Значит, всё нормально». Но чая не было. И «нормально» звучало как ложь.

Два года, четыре месяца и семнадцать дней.

Каждое утро — кружка, чай, «нормально». Каждый вечер — трость у стены, тихий гул, закрытые глаза. Каждый день — сын рисует, жена ставит чайник, будильник тикает. Каждый день — серость за окном чуть гуще. На каплю. На одну каплю в день.

Капля за каплей. Тихо. Терпеливо. Как кошка у норы.

И однажды утром Жнец проснулся, посмотрел на потолок — белый, с трещиной в углу — и подумал: не надо.

Не «не могу». Не «не хочу». Не надо.

Слово пришло откуда-то. Не снаружи. Изнутри. Из того места, где живёт не усталость, а согласие на усталость. Из того «не надо», которое звучит как своё, но не своё. Которое шепчет: лежи. Пусть будет тихо. Тебе хорошо тут. Тебе спокойно.

И он — почти — лёг.

Почти. Потому что в этот момент на кухне звякнула кружка. Нина мыла посуду. Кружка с котиком. «Тут чай. Значит, всё нормально». Звякнула — и он услышал. Не ушами — чем-то глубже. Тем, что не исчезает, даже когда не слушаешь. Тем, что живёт в костях, а не на коже.

Он встал.

Не потому что мог — потому что кружка звякнула. И в этом звуке было всё: чай, котик, надпись, «нормально». И ещё — нить. Тонкая, как паутина. Тянувшаяся от кружки к нему, от него к Нине, от Нины к Мише, от Миши к окну, от окна — к фонарю, который горел. Пока горел.

Трость у стены загудела. Ровно. Как будто сказала: наконец-то.

Жнец посмотрел на неё. Потом — на кружку. Потом — на окно, за которым серел мир. И подумал: нормально. Пока. Пока.

Действие I. Тени

Глава 1. Витрина

Александр открыл магазин в шесть сорок пять. На пятнадцать минут раньше положенного. Не потому что хотел — потому что проснулся и не смог лежать.

Это началось месяца два назад. Сначала он думал — возраст. Сорок три года, спина ноет по утрам, глаза открываются сами, будто кто-то щёлкает выключателем. Потом думал — погода. Санкт-Петербург, сентябрь, небо как грязная простыня. Потом перестал искать причины. Просто вставал.

«Уголок» — так назывался магазин. Не потому что стоял на углу улицы, а потому что Александр когда-то подумал: каждый угол — это место, где кто-то может остановиться. Он даже вывеску сам красил. Краска потекла, буква «У» получилась толще остальных, но Александру нравилось. Неровное — значит, живое.

У Александра было лицо, которое забывали через пять минут. Не некрасивое — забывающееся. Среднего роста, средних лет, средних плеч. Волосы — русые, редющие на макушке. Руки — большие, с мозолями от картона и скотча. Единственное, что отличало его от толпы — привычка мыть стекло. Каждый вечер. Тряпкой, рукой. Не потому что грязно — потому что чистое стекло — это присутствие. Это «я тут, заходите».

Он не всегда был продавцом. Двенадцать лет назад работал на заводе — собирал электрощитки. Завод закрыли. Александра не уволили — забыли. Пришло письмо: «В связи с ликвидацией предприятия ваш трудовой договор расторгнут». Он прочитал, сложил вчетверо, положил в карман. На заводе он был мастером: руки знали, куда какой провод, глаза видели, где коротит. В магазине — руки знали, куда какой товар, глаза видели, где грязь. Разница была меньше, чем казалось.

Он повернул ключ, толкнул дверь. Колокольчик над входом звякнул — весело, как будто радовался, что его не забыли. Александр вдохнул запах магазина: пыль, булочки, картон, что-то сладковатое, будто мёд пролили и не вытерли до конца. Этот запах был его. Он принадлежал ему, как принадлежат ключи от дома, как принадлежит скрип лестничной ступеньки.

Свет включался долго. Не мигал — разгорался, как будто лампе нужно было время, чтобы вспомнить, как светить. Александр подождал, пока белый потолочный свет станет ровным, и пошёл к витрине.

Витрина была единственным, чем он по-настоящему гордился. Не ассортиментом — тот был небольшой: хлеб, молоко, печенье, сигареты, чай. Не ценами — они были обычные. Витриной. Большое стекло, за которым он расставлял всё так, чтобы с улицы было видно: вот булочки, вот коробка чая, вот ваза с мандаринами. И каждый вечер протирает стекло тряпкой — не шваброй, а рукой, потому что рукой чувствуешь, где грязь, а где просто тень от рамы.

Тряпка висела на крючке у двери. Серая, жёсткая, с белым пятном от моющего средства. Александр побрызгал на стекло из пульверизатора и начал протирать.

И тут увидел.

За стеклом, на улице, было серое. Не тёмное — серое. Не ночь и не утро. Будто кто-то взял обычный петербургский сентябрь и выкрутил из него все цвета. Дома были серыми. Дорога была серой. Даже небо — не белёсое, как обычно, а глухое, будто замазанное штукатуркой.

Но хуже было другое. На стене дома напротив, где обычно висел рекламный плакат — «Кофе. Тёплая осень.» — плакат был. Но буквы на нём были серыми. Не выцвели — стали серыми, будто кто-то забрал у них цвет, как забирают сдачу со стола.

Александр протёр стекло ещё раз. Потом ещё. Проверил — нет ли разводов. Разводов не было. Серым был мир за окном.

— Осень, — сказал он вслух. Просто чтобы что-то сказать. Просто чтобы услышать свой голос в тишине магазина.

Тишина была неправильной. Не громкой, не давящей — неправильной. Как будто кто-то выключил не звук, а эхо. Обычно из-за двери доносился шум улицы: машины, ветер, собачий лай, голоса. Сегодня — ничего. Будто улица была не снаружи, а за стеной воды.

Александр прислушался. Далёкий гул — не машин, чего-то другого. Как будто город дышал — тяжело, неровно, как человек с простудой. Александр почувствовал: затылок стал тяжёлым. Не больно — тяжело. Как будто кто-то положил ладонь на темя и мягко нажал.

Колокольчик звякнул. Первая покупательница. Нина Павловна с третьего этажа, семьдесят четыре года, всегда покупала один батон и пачку кефира.

— Здравствуйте, — сказал Александр и улыбнулся. Он всегда улыбался — не из вежливости, а потому что не умел не улыбаться. Это была его единственная неприятная привычка: улыбка, которая появлялась даже когда не надо. Когда болит, когда устал, когда страшно — улыбка. Как будто лицо жило отдельно от души.

— Здравствуйте, — ответила Нина Павловна. Но сказала это так, будто вспоминала, как звучит «здравствуйте». Как будто слово было знакомое, но давно не использованное.

Она постояла у прилавка. Посмотрела на полки. Глаза — мутные, голубые, как выцветшее небо — скользнули по хлебу, по молоку, по печенье. Потом тихо сказала:

— Я забыла, зачем пришла.

Александр подождал. Нина Павловна постояла ещё. Морщины на её лице сложились в узор, который был похож на вопросительный знак. Потом тихо сказала:

— Батон. И кефир. Да. Батон и кефир.

Александр дал ей батон и кефир. Она расплатилась — монеты звякнули о прилавок, и звук был тоньше обычного, будто металл стал легче. Сказала «спасибо» — но «спасибо» прозвучало плоско, как монета, которую уронили на кафель. И ушла.

Александр смотрел ей вслед. Нина Павловна шла медленно — но не как старый человек. Как человек, который забыл, куда идёт.

День шёл. Покупатели приходили, но каждый — как будто чуть-чуть отсутствовал. Мужчина в кепке взял сигареты и забыл сдачу — сорок рублей, мелочь, но забыл. Женщина в сером пальто стояла у полки с чаем три минуты, прижимая к губам палец, потом взяла первый попавшийся — и не тот, что обычно. Девочка лет десяти зашла за жвачкой и вышла, не разворачивая обёртки. Александр окликнул: «Девочка, сдача!» — но она не обернулась. Будто не услышала. Будто звук не догнал.

В полдень Александр позвонил Марине. Не по делу — просто. Они знакомы были лет пять. Не друзья — соседи. Марина заходила за хлебом, здоровалась, иногда задерживалась у прилавка на минуту: «Очередь большая?» — «Нет». — «Ну и ладно». Этого хватало. Этого было достаточно для того, чтобы считать друг друга знакомыми. Не близкими — знакомыми. В Петербурге этого довольно.

— Марин, — сказал он, — ты как?

— Тут, — ответила она. И пауза. Длинная, как вдох под водой. — Нормально.

— Нормально? — переспросил Александр. Не потому что не расслышал — потому что не поверил.

— Нормально, — повторила Марина. И положила трубку. Не резко — ровно. Как кладут вещь, которая не нужна.

Александр смотрел на телефон. Потом — на витрину. Потом — на улицу, где серость стала чуть гуще. Как будто кто-то медленно, по капле, выливал её на город.

Вечером, в семнадцать тридцать, он закрыл магазин. Повесил табличку «Закрыто». Выключил свет. И вышел.

Лампочка над входом горела. Маленькая, жёлтая, тусклая — но горела. Александр посмотрел на неё и подумал: хоть ты нормальная.

Он прошёл двор, свернул за угол — и остановился.

Лампочка над входом в его дом не горела. Не перегорела — не горела. Цоколь был пустой. Лампочка лежала на асфальте, у стены. Целая. Просто выкрученная.

Александр поднял её. Повертел в руках. Тёплая. Не от электричества — от чьей-то ладони. Кто-то держал её в руках, прежде чем положить. Аккуратно, с уважением.

Он вкрутил её обратно. Щёлкнул выключателем. Свет загорелся.

Поднялся к себе, открыл дверь, разделся, сел на кухню. Поставил чайник. И пока вода грелась, смотрел в окно.

Фонарь у поворота горел. Фонарь у подъезда горел. Лампочка над входом горела. Всё было как обычно.

Но Александр не мог отделаться от мысли, что серость за окном стала чуть гуще. И что давление на затылок, которое он почувствовал утром, не ушло. Просто притихло. Как кошка, которая свернулась у норы и ждёт.

Чайник щёлкнул. Александр налил чай. Кружка была белая, с рыжим котиком и надписью, которую он знал наизусть: «Тут чай. Значит, всё нормально». Жнец подарил ему эту кружку два года назад. Просто принёс и протянул. Александр спросил: «За что?» — Жнец ответил: «Ни за что. Просто у меня три, а мне нужна одна». Александр не понял, но взял. С тех пор пил из неё каждый вечер.

Сделал глоток. Горячий, крепкий, чуть горьковатый. И подумал: нормально. Пока есть чай — нормально.

За окном лампочка над входом погасла.

Александр не видел этого. Он уже спал.

Глава 2. Мальчик с тетрадкой

Лёша сидел у стены магазина, подтянув колени к груди, и считал.

— Семь, — прошептал он, глядя на фонарь у поворота. — Восемь. Девять.

Девятый фонарь был у подъезда дома напротив. Он горел. Лёша записал в тетрадку: «Фонарь №9 — горит». Вывел аккуратно, как учительница учила: буквы ровные, точки чёткие. Потом обвёл цифру девять в кружок. Жёлтым карандашом.

Тетрадка была обычная, в линейку, сорок восемь листов. На обложке Лёша написал: «Список фонарей. Важно». Подчеркнул два раза. И нарисовал солнце. Маленькое, с тонкими ножками-лучами. Как будто оно стояло на обложке и держало тетрадку.

Ему было двенадцать. Худой, стриженный, с острыми ключицами, которые проступали из-под воротника куртки. Куртка была ему велика — руки прятались в рукава до кончиков пальцев. Не его куртка. Мамина. Она носила её, когда ходила на работу. Работа была давно. Куртка осталась. Пахла мамой: духи, стиральный порошок, что-то ещё, чему нет названия, но что узнаёшь с закрытыми глазами.

Рюкзак — синий, с оторванной молнией на переднем кармане. Внутри: тетрадка, запасные карандаши, булочка (вчерашняя, немного подсохшая), фонарик (маленький, светодиодный, отцовский).

Отцовский фонарик. Лёша не думал об отце. Не потому что не хотел — потому что больно. Думать было больно, как трогать синяк: можно, но не нужно. Поэтому он думал о фонарях.

Отец ушёл три года назад. Не умер — ушёл. Собрал вещи в спортивную сумку, поцеловал Лёшу в лоб и сказал: «Я вернусь». Не вернулся. Мама сказала: «Он не вернётся». Не крикнула, не заплакала — сказала. Ровно, как зачитывают диагноз. Через год мама тоже стала тихой. Потом — тихой стала квартира. Потом — улица. Потом — город. Будто отец забрал с собой звук, и оставил тишину, как чек на сдачу.

Фонари были понятные. Они либо горели, либо нет. Либо светили, либо молчали. Никаких «может быть». Никаких «я вернусь». Просто: горит — или нет.

Лёша начал считать месяц назад. Сначала — просто так. Шёл домой от Александра с булочкой, заметил: фонарь у поворота не горит. Лампочка на асфальте. Целая. Поднял, вкрутил — загорелась. И подумал: вот. Просто. Проблема — решение. Не как с отцом. Не как с мамой. Не как с математикой, которую он не понимал и стеснялся спрашивать.

Потом заметил: фонарей стало меньше. Не разбили, не перегорели — выкрутили. Он видел: лампочка лежит на асфальте, целая, невредимая. Просто кто-то выкрутил её из цоколя и положил на землю. Аккуратно. Как будто с уважением.

Лёша не понимал, зачем. Но его это беспокоило. Не пугало — беспокоило. Как зуд в том месте, которое не чешешь, потому что не знаешь где. Он стал ходить по вечерам и считать. Каждый вечер, после семи, когда темнело. Проходил квартал, записывал, проверял. Дома — красил жёлтые кружки в тетрадке. Много. Целые страницы жёлтых кружков, как небо, полное звёзд.

Мама не спрашивала, куда он ходит. Она вообще мало спрашивала в последнее время. Лежала на диване, смотрела в потолок. Не спала — смотрела. Иногда Лёша приносил ей чай. Она брала, кивала. Не пила. Чай остывал на тумбочке. Лёша выливал через час. Наливал новый. Она не пила. Он выливал. Наливал. Это был ритуал — единственный, который остался.

Дверь магазина открылась. Колокольчик звякнул. Александр вышел с булочкой.

— Опять считаешь? — спросил он. Голос был ровный, без насмешки. Просто спрашивал.

— Угу, — кивнул Лёша.

— Сколько сегодня?

— Двадцать три горит. Было двадцать пять.

Александр присел на корточки рядом. Не на скамейку — на корточки. Как разговаривают с детьми, когда хотят быть на одном уровне. Лёша заметил: у Александра глаза были уставшими. Не от работы — от чего-то другого. Как будто он тоже считал что-то, и его счёт не сходился.

— Покажешь? — Александр кивнул на тетрадку.

Лёша протянул. Александр полистал. Страница за страницей: «Фонарь №1 — горит. Фонарь №2 — горит. Фонарь №3 — погас. Лампочка на асфальте, целая. Фонарь №4 — горит...» И так — сорок семь фонарей. С адресами, с временем, с пометками: «лампочка на асфальте», «цоколь пустой», «стекло треснуло».

На одной странице — запись другим почерком. Крупным, круглым, детским. «Фонарь №7 — горит. Жнец помог. Он знает». Александр поднял глаза на Лёшу.

— Кто — Жнец?

— Дед с тростью, — Лёша не знал, как объяснить. — Он ходит тут каждый вечер. И трость у него гудит.

— Гудит?

— Ну... вибрирует. Как телефон на столе. Только тише.

Александр помолчал. Он видел этого деда — высокого, седого, с чёрной тростью. Проходил мимо магазина каждый вечер, медленно, опираясь на трость, как слепой. Александр здоровался. Дед кивал. Этого хватало. Но «гудит» — это было новое.

— И он помогает тебе вкручивать?

— Ага. Вчера помог. Сказал: фонарь — это не лампочка. Фонарь — это знак, что кто-то тут живёт.

Александр посмотрел на мальчишку. Худой, в маминой куртке, с тетрадкой и вчерашней булочкой в рюкзаке. С фонариком от отца, которого нет. С тетрадкой, в которой он считает фонари, потому что фонари — понятные. Потому что если фонарь горит — можно починить. А если отец ушёл — нельзя.

— Пойдём, — сказал Александр. — Покажешь мне, какие погасли.

Они шли по двору. Вечер был серым — не тёмным, а выцветшим, как старая фотография. Фонари горели, но свет их был слабым, будто лампочкам не хватало сил. Ветер нёс запах мокрых листьев и чего-то ещё — металлического, как запах монеты, которую долго держали в кулаке. Александр почувствовал тяжесть на затылке — ту же, что утром. Как будто кто-то положил ладонь на темя и мягко нажал.

— Вот, — Лёша остановился у фонаря у поворота. — №14. Вчера горел. Сегодня — нет. Александр посмотрел. Цоколь пустой. Лампочка на асфальте. Целая.

— Может, ветер, — сказал он, не веря себе.

— Ветер не выкручивает, — тихо сказал Лёша. — Ветер роняет. А тут — выкрутили. Резьба чистая. Никто не ковырял. Просто... выкрутили.

Александр поднял лампочку. Тёплая. Не остывшая — тёплая. Как будто кто-то держал её в руке, прежде чем положить на асфальт. Он повертел в пальцах — обычная лампочка, матовая, жёлтая. Ничего особенного. Но тепло от неё было — живое, человеческое.

Он вкрутил её обратно. Щёлк. Свет загорелся. Жёлтый, ровный, настоящий. И в этот момент воздух будто стал легче. Чуть-чуть. На каплю. Тяжесть на затылке отступила. Александр выдохнул — и понял, что задерживал дыхание.

— Чувствуешь? — тихо сказал Лёша. — Загорелась. Значит, кто-то тут живёт.

Александр не ответил. Он смотрел на лампочку и чувствовал: что-то не так. Не с лампочкой — с тем, что он чувствует. Как будто внутри, где-то за рёбрами, кто-то положил маленький, тяжёлый камешек. Не давит — лежит. И оттого, что лежит, становится тише. Не снаружи — внутри. Как будто кто-то повернул ручку громкости на полоборота вниз.

— Пойдём дальше, — сказал Лёша. — У нас ещё четыре.

К десяти вечера они прошли весь квартал. Вкрутили четыре лампочки. Все горели. Лёша записал в тетрадку: «№14 — горит. №22 — горит. №31 — горит. №38 — горит». И нарисовал жёлтые кружки.

Когда они вернулись к магазину, Александр посмотрел на мальчишку и впервые за вечер увидел: Лёша улыбается. Не широко — уголком рта. Но улыбается. И в этой улыбке было всё: упрямство, облегчение, жизнь. Улыбка человека, который сделал что-то маленькое, но настоящее, и знает, что это важно, даже если никто больше не знает.

— Завтра придёшь? — спросил Александр.

— Приду, — кивнул Лёша. — Всегда прихожу.

Он ушёл. Александр смотрел ему вслед — худая спина, великоватая куртка, рюкзак с оторванной молнией. Мальчишка, который считает фонари, потому что фонари — понятные. Потому что если фонарь горит, значит, кто-то тут живёт. Значит, не nobody.

Лёша сказал это слово по-английски. Не потому что умный — потому что русское «никто» звучало слишком окончательно. Как дверь, которая закрылась и больше не откроется. А «nobody» было просто словом. Иностранным, чужим, безопасным.

Александр зашёл в магазин. Взял тряпку. Протёр витрину. Стекло было чистым. За ним — серый вечер, жёлтые фонари и отражение Александра: мужчина сорока трёх лет, с тряпкой в руке, который моет витрину, даже если никто не смотрит.

Потому что если не мыть — значит, не надо. А «не надо» — это первый шаг к «никто».

Глава 3. Трость

Жнец шёл по улице, и трость в его руке гудела.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.